

ИСТОРИЯ НАРОДНОГО БУНТА В ПОВЕСТВОВАНИИ Б.Ф. ПОРШНЕВА И Р. МУНЬЕ

К. Жуо

Идея этой статьи пришла мне в голову во время работы над вольтеровским «Веком Людовика XIV». Я заметил, что, когда анализируешь длинные повествовательные отрывки из «Века Людовика XIV» – описание событий, а не те главы, что растасканы на цитаты в подтверждение совершенного Вольтером историографического прорыва, каковой можно подытожить его фразой: «Хотелось бы запечатлеть для потомков не деяния отдельно взятого человека, а умонастроения людские, дух сáмого просвещенного из веков»¹, – то угол зрения на историческую концепцию Вольтера, на его цели и задачи существенным образом меняется, сам смысл воссоздания истории как философского акта предстает совершенно в ином свете.

И я по аналогии задался вопросом: а что, если сосредоточить внимание не на двух широко известных, логично выстроенных, цельных и опровергающих друг друга концепциях истории общества Старого порядка, предложенных Поршневым и Мунье, а на их манере изложения событий, на не имеющем – с первого взгляда – особого значения и подвоха рассказе о восстаниях, то есть на общих местах? Не прольет ли это свет и на сами концепции, не высветит ли их рельеф по-новому так, что станут видны тени? Я довольно быстро убедился, что моя рабочая гипотеза тут не годится в виду специфики манеры повествования, принятой обоими историками: они, особенно Поршневым, слишком часто апеллируют к историческим свидетельствам и монографиям предшественников, на которых, как может показаться, и перелагают всю ответственность. Пришлось отречься от мысли проделать с ними то, в чем я преуспел с Вольтером, – то есть отделить повествовательную часть от интерпретации (при этом я, конечно, прекрасно понимал: «поведать» – все равно значит «интерпретировать», но по-другому). У Поршнева и Мунье повествование всегда подчинено тактическому развертыванию интерпретации и не отклоняется – а если и отклоняется, то с оговорками – от конечной цели, которой эта интерпретация служит, и от установок, которые оно незаметным образом навязывает.

Сначала проследим эту манеру у Поршнева, в отрывке из главы, посвященной восстанию 1630-го года в Дижоне, которое известно как

Кристиан Жуо, Высшая школа практических исследований, Париж.

¹ Voltaire. Le siècle de Louis XIV // Voltaire. Œuvres historiques / Éd. René Pomeau. P., 1957. P. 616.

«бунт Лантюрю»². Я попытаюсь охарактеризовать ее развитие, указывая на то, что можно назвать «функционированием повествовательного мотора».

Повествование и интерпретация

Поршневу, как обычно, начинает с обзора источников, но в данном случае оговаривается одна особенность: отсутствие подлинных исторических свидетельств о «бунте Лантюрю» в корреспонденции, адресованной канцлеру Сегье и хранящейся в знаменитом фонде Дубровского. Действительно, самые ранние письма Сегье датированы 1633 г. Поршневу в связи с этим вынужден обратиться к трудам своих коллег-историков, в частности эрудитов XIX века. Он посвящает им целый параграф, который заканчивается словами: «Исходя из этих данных, восстание, известное под названием “Лантюрю”, можно представить так»³. Тем самым Поршневу подчеркивает описательный характер нижеследующих строк. А во время описания урбанистического пейзажа, социальных институтов и событий он риторически придает статус достоверности всем характеристикам, заимствованным, между прочим, из историографии, которую в дальнейшем сам же подвергнет критике. Это одна из типичных черт поршневого стиля.

Критика возмущает о себе ссылкой на Маркса, вроде бы безобидной и довольно неуместной, которая проскальзывает в процессе изложения фактов: «...в Бургундии должны были вступить в силу новые налоги, в том числе подать на вино, то есть налог на вино, являвшийся в XVIII веке, как сказал Маркс, “главным объектом народного гнева” во Франции»⁴. Чуть ниже, после краткого повторения, следует критика «буржуазной историографии» с развенчанием ее идеологических предрассудков, но без каких-либо нападок на ее повествовательные приемы описания прошлого.

Далее разворачивается рассказ о мятеже, уже само начало которого весьма красноречиво: «Восстание вспыхнуло 27 февраля 1630 года...». Ритм предложений, время глаголов – чередование времен *imparfait* (несовершенного) и *passé simple* (простого прошедшего) – как будто задают повествованию темп крещендо, который воспроизводит в тексте нарастающую мощь бунта, и денотат⁵ таким образом растворяется – классический прием, характерная черта исторического

² Porchnev B. Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648. P., 1963. P. 135–142.

³ Ibid. P. 135.

⁴ Ibid. P. 136.

⁵ Денотат (референт) – предмет или явление, обозначаемое языком, текстом. – Прим. ред

дискурса⁶ – в языковом инструментарии, служащем для его выражения. Однако, поскольку в данном случае я говорю о стилевых особенностях перевода, это впечатление может оказаться обманчивым. За неимением возможности обратиться к русской версии текста, не стану настаивать.

Рассказ прерывается уверенным, веским комментарием, который понадобился автору для того, чтобы истолковать двусмысленные факты, возникшие вдруг на фоне четко обрисованного и аргументированного пейзажа:

«Более того, найденный в одном из домов портрет короля Людовика XIII был сожжен на улице. Есть свидетельство, впрочем не вполне достоверное, что в толпе раздался крик: “Да здравствует император!”. Однако же на основании одного-единственного свидетельства нельзя говорить, как это сделал Кюнисе-Карно, о “сепаратизме” всего движения. Вероятно, оно носило антиабсолютистский характер»⁷.

Этот эпизод с сожженным портретом короля чрезвычайно важен для определения возможной политической подоплеки мятежного движения, но важность его затушевана искусственным противопоставлением того, что выведено под словом «сепаратизм», и антиабсолютизма, как будто антиабсолютистское выступление в Бургундии исключало упоминание императора. Между тем именно оно, это упоминание императора, является ключом к пониманию самого акта сожжения портрета. Но Поршневу не проявляет ни малейшего интереса ко всему, что могло бы приблизить его к антрополого-политической проблематике⁸.

С этого момента повествование уже полностью подчинено уверенному голосу толкователя, который формально ничем не обнаруживает своего присутствия. Особенно громко этот голос звучит в характеристике участников восстания, но здесь, как и в случае с портретом короля, мнение автора выдается за очевидные факты до тех пор, пока не появится – надо заметить, с большим опозданием по отношению ко всему, что уже было сказано, – фраза, указывающая на то, что дальше начинается интерпретация: «Прервем ненадолго рассказ о событиях, чтобы задать вопрос: какие социальные группы стояли у истоков восстания?». Ниже следуют и другие речевые элементы, служащие признаками толкования, дистанцированного от изложенных событий.

⁶ См.: Barthes R. Le discours de l'histoire (1967) // Barthes R. Oeuvres complètes. P., 1994. Т. 2. P. 416–427 (впервые опубликовано в Informations sur les sciences sociales).

⁷ Porchnev B. Op. cit. P. 138. Советский историк ссылается на книгу Поля Кюнисе-Карно «Бунт Лантюрюлю в Дижоне в 1630 г.» (Cunisset-Carnot P. L'émeute des Lanteruilles à Dijon en 1630. Dijon, 1897).

⁸ У меня и в мыслях нет упрекать Поршнева в том, что он проигнорировал «историю менталитетов», – это было бы абсурдно, ведь когда он писал свою книгу, такого понятия еще не существовало. Парадокс в том, что Поршневу было прекрасно знакомо с достижениями антропологии, поскольку сам занимался этой наукой.

Дистанция эта постоянно подчеркивается звучанием голоса толкователя, который вовлекает в свои рассуждения читателя с помощью местоимения «мы» и глаголов в первом лице множественного числа: «для начала подчеркнем...», «мы почерпнули сведения» в книге Рунеля⁹, «мы убедились, что...», «нам уже известно», «мы также знаем» и т.д. Из этой интерпретационной риторики автор постепенно выходит, вводя все больше повествовательных элементов, и неожиданно выражается с предельной ясностью: «Нам осталось поведать об окончании восстания...».

Как можно заметить, прямые указания на изложение авторской точки зрения и на возврат к описанию событий скрывают под собой сначала поэтапное снабжение рассказа комментариями интерпретационного толка, а затем усиливающееся проникновение в собственно интерпретацию фактического материала. В обоих случаях сам текст изложения событий и текст интерпретации предшествует пояснению по поводу его природы. Эта риторическая тактика, несомненно, готовит финальный рывок к последующим событиям, то есть к Фронде, которую в глазах Поршнева предвосхитят некоторые особенности джонского мятежа, и обращение к основной документальной базе – к письмам из фонда Дубровского. Первым из этих источников в книге Поршнева появляется ретроспективный, сформулированный в 1636 г., комментарий, принадлежащий интенданту Машо, который обеспокоен все еще царящим в Дижоне мятежным духом¹⁰. Слова Машо недаром процитированы: они призваны убедить читателя XX века в том, что восстание надолго затянулось во времени, а нужно это автору ради более глобальной и более «научной» интерпретации.

На этом я заканчиваю краткий анализ поршневого историографического стиля. Замечу только, что все элементы общей концепции книги находят свое воплощение в отдельно взятом рассказе о джонском восстании 1630 г., пусть и в усеченном виде. Поэтому мне кажется, что джонский эпизод у Поршнева является вовсе не кирпичиком в стене большого здания, не сегментом, который приобретает смысл лишь будучи частью единого целого, а скорее миниатюрной копией этого целого, несущей в себе все или почти все главные черты общей концепции, подвергнутой – в данном случае не столько методологическими, сколько языковыми средствами – сжатию, концентрации. На мой взгляд, это особенно ярко проявляется в сравнении

⁹ Rounel G. La ville et la campagne au XVIIe siècle. Etude sur les populations du pays dijonnais. P., 1922 (книга была переиздана в 1956 г.).

¹⁰ «В городе этом наблюдается брожение умов, и кажется мне, что жители готовы взбунтоваться; многие полагают, будто подстрекают их к тому господа парламентарии и прочие из числа привилегированных [...]». Цит. по: Porchnev B. Op. cit. P. 142.

описаний – одним кратким, другом пространном – двух событий: бунта в Дижоне и восстания Босоногих в Нормандии¹¹. Эмпирическое построение у Поршнева, таким образом, с точки зрения письменного изложения, расщепляется на игру с источниками, которые складываются в определенные комбинации для интерпретационного воспроизведения прошлого, и на создание в рассказе о событиях и с помощью рассказа о событиях уменьшенной схемы предварительно принятой концепции. Необходимое и считающееся научным разграничение между повествованием о прошлом и его интерпретацией служит в данном случае маскировкой «научного» опыта внедрения идеологии в само повествование.

Признания в предисловии

С этой точки зрения весьма показательно и порой даже забавно выглядит предисловие Поршнева к французскому изданию своей книги¹², всецело связанное с полемикой, которую во Франции вызвал его марксистский подход к истории, и стремящееся сгладить в ней острые углы. Поршнева проводит различие между двумя своими оппонентами – Роланом Мунье и Виктором-Люсьеном Тапье, как известно, профессорами Сорбонны. Первому из них, хоть он и удостоился титула «мой уважаемый коллега», изрядно досталось за манеру, в которой он попытался «обосновать» то, что Поршнева называет «его отношением к моему труду». Тапье же, напротив, заслужил весьма мягкое обращение благодаря неожиданному посредничеству Э. Космана, голландского историка Фронды. Тапье «высказывает свое мнение [он считает, что книга Поршнева представляет несомненный интерес, признает компетентность автора, но отвергает его выводы и подход в целом. – К.Ж.] с величайшей деликатностью и тонкостью на многих страницах своей монографии “Франция Людовика XIII и Ришелье” (1952)¹³. Я не сумею охарактеризовать позицию Виктора Тапье лучше, чем это удалось голландскому историку Эрнсту Косману: любезно подчеркивая ценность проделанных мною изысканий, Эрнст Косман находит справедливое отношение Виктора Тапье, который “воспользовался множеством фактов, раздобытых его русским коллегой, но элегантно отгел его умозаключения”». ¹⁴

Прежде всего, отметим, что критику Космана, конечно, можно назвать «любезной», однако от этого она не менее жестка, к тому же сформулирована пусть и не в более резкой, зато в более обидной форме,

¹¹ Ibid. P. 301–302.

¹² Ibid. P. 11–15.

¹³ *Tapié V.-L.* La France de Louis XIII, et de Richelieu. 2^{ème} éd. P., 1967.

¹⁴ *Porchnev B.* Op. cit. P. 11.

чем критика Мунье: «Остается лишь сожалеть, что научный метод, который открыл г-ну Поршневу дорогу к новой интерпретации, заставил его заблудиться в сложном переплетении софизмов, преувеличений и обобщений»; при этом процитированные Поршневым слова Космана о Тапье взяты всего-навсего из постраничного примечания¹⁵. С другой стороны, книга Тапье – это учебник, а книга Космана – попытка синтеза, воссоздания общей истории Фронды с позиций политической истории и истории идей, а вот работа Мунье, напротив, четко вписывается в рамки социальной истории, поэтому, на первый взгляд, она гораздо ближе к работе Поршнева по принципам научного анализа – об этом свидетельствует и сам Поршнев в предисловии к русскому изданию, ссылаясь на диссертацию Мунье о продаже должностей. Ссылка на статьи Мунье о народных восстаниях там, разумеется, не было – статьи опубликованы позже монографии Поршнева, о чем тот, кстати, не преминул напомнить в предисловии к французскому переводу:

«Поскольку я оказался первым историком, которому удалось со всей полнотой описать народные восстания во Франции перед Фрондой, необходимо признать и то, что авторы, побуждаемые другими теоретическими посылами, не были знакомы с найденным мною фактическим материалом или не уделяли ему должного внимания. Сейчас они заявляют, будто означенные факты больше согласуются с их концепциями, нежели с моей. Однако же, хотя Ролан Мунье в наши дни неоспоримо является лучшим специалистом по архивным источникам, имеющим отношение к истории Франции XVII в., он открыл для себя вторую, оставшуюся в Париже, часть архивов канцлера Сегье лишь после того, как прочел мою книгу. А между тем все эти 46 томов документов никто ни от кого не прятал – они хранились в Национальной библиотеке, и многие историки разных поколений имели к ним доступ, но не увидели в означенных фондах ничего интересного и мало использовали их в своих исследованиях. И только когда я извлек на белый свет богатейшие данные по народным восстаниям из архивов, хранящихся в Ленинграде, Ролан Мунье обратился к парижской части собрания Сегье – пусть и для того, чтобы проверить и раскритиковать мои выкладки»¹⁶.

То же самое можно было бы сказать и о деликатном Виктор-Елюсьене Тапье, но так уж вышло, что он не интересовался ни французскими архивами, ни, за исключением нескольких малозначительных заметок, социальной историей – чуть позже это в полной мере проявится в его полемике с Пьером Франкастелем по поводу «Барокко

¹⁵ *Kossmann E.* La Fronde. Leiden, 1954. P. IX–X.

¹⁶ *Porchnev B.* Op. cit. P. 10–11.

и классицизма»¹⁷. Более того, его интерпретация «восстания босоногих» диаметрально противоположна интерпретации Поршнева, а сравнение, к которому он прибегает для изложения своей точки зрения, должно было бы шокировать советского историка. Отвечая Поршневу, усмотревшему в «восстании босоногих» предвестие Фронды, Тапье пишет:

«Фронда? Без сомнения. Однако спустя много лет после Фронды во Франции случилась еще одна гражданская война – вандейская. Нельзя уклониться от необходимости проведения параллелей, когда изучаешь крестьянские волнения времен Людовика XIII. Но прошло сто пятьдесят лет между ними и восстанием вандейцев, а общие черты просто бросаются в глаза»¹⁸.

И далее:

«[...] сельское население устраивает бунт, потому что новые законы угрожают привычному для него укладу жизни, вне которого оно не мыслит своего существования [...]. Крестьянское войско может таким образом захватить весь регион, покорить его и держать в страхе. Оно с легкостью занимает города – местная стража не способна противостоять натиску разъяренных крестьян, – а тут уж и до крупных свершений недалеко, как показал победный бросок Католической королевской армии на Гранвиль. Но нельзя забывать, что эти успехи похожи на внезапные приступы лихорадки. Крестьяне-мятежники – это земледельцы, всей душой привязанные к своей пашне, они не могут расставаться с ней на долгие месяцы»¹⁹.

В этом отрывке обращает на себя внимание, во-первых, использованная лексика – «разъяренные крестьяне», «лихорадка», «пашня», «страх», – характерная для самого что ни на есть реакционного подхода к истории любых народных волнений, а во-вторых – распространение вандейской модели на всю совокупность крестьянских бунтов XVII века, хотя разве что географическая близость позволяет тут провести аналогии с восстанием Босоногих... Возникает вопрос, почему эти рассуждения Тапье не показались Поршневу достойными открытого опровержения, почему не помешали ему похвалить за «деликатность» и «тонкость» историка из Сорбонны, по отношению к которому так и не

¹⁷ См.: *Tapié V.-L. Baroque et classicisme*. P., 1957 (переиздания: 1972, 1980); *Francastel P. Baroque et classique : une civilisation // Annales*. 1957. Avril–juin. P. 207–222; *Idem. Baroque et classicisme : histoire ou typologie des Civilisations ? // Annales*. 1959. Janvier–mars. P. 142–151; *Tapié V.-L. Baroque et classicisme // Annales*. 1959. Octobre–décembre. P. 719–731; *Jouhaud Ch. Sauver le Grand-Siècle ? Présence et transmission du passé*. P., 2007. P. 225–228.

¹⁸ *Tapié V.-L. La France de Louis XIII, et de Richelieu*. P. 375.

¹⁹ *Ibid.*

прозвучал термин «противник» – этого звания удостоился один Мунье. Так или иначе, нужно констатировать, что идеологическая подоплека, сквозящая в историографической реконструкции и в самом стиле Тапье, не является для Поршнева той, осмелюсь выразиться, красной линией, которая может перечеркнуть необходимость соблюдения академического этикета и признание научных заслуг оппонента.

Кроканы Мунье и кроканы Поршнева

В заключительной части этой небольшой статьи я хотел бы остановиться подробнее на одном историческом эпизоде из череды народных волнений, которому уделили внимание в равной степени и Мунье, и Поршневу, – на «восстании кроканов»: это общее название объединяет крестьянские бунты в Ангумуа, Сентонже и Перигоре в 1636 и 1637 гг. Оба историка посвятили кроканам немалое и примерно одинаковое число страниц, что, на мой взгляд, дает возможность сравнить эти два текста и, в частности, выявить различия не только в интерпретации, но и в целом ряде деталей, из которых и складывается стиль, – прежде всего в выборе речевых средств и документальных источников, служащих для изложения фактов. Провести исчерпывающий, построчный разбор текстов я здесь, конечно, не могу, укажу лишь на несколько расхождений, которые представляются мне важными.

Для начала отметим, что Поршневу об этом восстании поведал более пространно, чем о дижонском мятеже 1630 г., но его рассказ выстроен по тем же принципам. Разумеется, для воссоздания истории кроканов у исследователя был богатый материал из фонда Дубровского, поэтому цитаты из документальных источников занимают в повествовании больше места, однако ритм текста, расстановка и взаимодействие элементов, которые составляют композицию, идентичны. Это, бесспорно, все тот же рассказ, только в ином, более крупном, масштабе и в иных географических и социальных декорациях.

Мунье, в свою очередь, посвящает кроканам две главы книги «Ярость крестьянства»²⁰ (показательное название). В этом тексте 1967 года сразу поражают два интеллектуальных бэкграунда, заложенные уже в самом начале. В первом параграфе Мунье дает описание социально-экономических последствий введения косвенных сборов на вино в Сентонже и Ангумуа – описание четкое, ясное, предельно точное, с очень рационально выстроенной диалектикой развития этих последствий, хотя оно всецело принадлежит к типично исторической риторике воссоздания «картины» прошлого, производящей такой обобщенный «эффект реальности», что даже самые достоверные факты кажутся

²⁰ Mousnier R. *Fureurs paysannes. Les paysans dans les révoltes du XVIIe siècle* (France, Russie, Chine). P., 1967. Ch. III–IV. P. 63–96.

вымышленными²¹. Однако первое и последнее предложения параграфа вписывают все это рационалистическое построение в психологический контекст, который никак нельзя назвать научно-историческим. Первое предложение: «Население королевских кастильянств на юге Сентонжа и Ангума, соседствовавшее с бордосцами, чувствовало себя обделенным монаршими милостями». Последнее: «Обитатели земель не столь богатых, по сравнению с Бордо, страдали, глядя на бордосцев, “психологическим комплексом недоразвитого региона”». Эта внезапная, вневременная, абстрактная, лишённая эвристического смысла апелляция к психологии предстает в качестве научного допущения, исключающего другие толкования. Ее присутствие указывает и на то, какое место отводит себе Мунье по отношению к воссоздаваемой им истории прошлых эпох: он смотрит на нее сверху вниз, и такая позиция позволяет ему выносить любые суждения, критерии которых не очевидны, не разъяснены и не обоснованы исторически. Он вступает в разговор с мятежными крестьянами, обвиняя их в том, что своими требованиями (и, разумеется, по невежеству своему) они добиваются пересмотра Конкордата 1516 г., в котором сосредоточена «вся королевская политика», когда выступают за снижение налоговой ставки до уровня 1610 г. и не принимают во внимание, что причиной тому была «капитуляция перед Габсбургами»²². Поведав о кровавом разгроме кроканов в Перигоре войсками герцога де Лавалетта, он великодушно объявляет, что «и те и другие были людьми честными и храбрыми»²³. Даже описание пейзажей, на фоне которых разворачивались мятежи, служит материалом для создания контекста, внушающего мысль о бунтарском

²¹ Ibid. P. 63: «Пошлина на перевозку бочки вина по реке Шаранте в 1636 г. поднялась до 13 ливров 10 су при цене от 20 до 24 ливров за бочку, тогда как в Бордо за перевозку по Гаронне бочки большего объема, которую продавали за 100–120 ливров, пошлина составляла всего 6 ливров 10 су. К тому же бордосские земли находились ближе к морю, там существовали особые законы коммерции, позволявшие местным жителям торговать с “чужеземцами” напрямую и самим грузить винные бочки на корабли, так что у бордосцев торговля шла легче и с большей выгодой. Обитателям Шаранты приходилось пользоваться услугами “чужеземных” посредников, у которых и оседала изрядная доля прибыли [на самом деле бордосцы тоже работали с комиссионерами и регулярно жаловались на их чрезмерные доходы. – К.Ж.]. Помимо этого, высокие пошлины на розничную продажу настолько задирали цену [sic! – К.Ж.] на вино, что крестьянин уже не мог торговать и оставлял виноград на лозе или сбывал свое вино за гроши для перегонки на водку. Перегонные аппараты работали на дровах, и производство водки опустошало леса в ущерб металлургическим мануфактурам. А “чужеземные” посредники захватывали рынок в ущерб местным купцам и производителям. В провинции, где сам товар стоил очень дешево, необходимость отдавать проценты посредникам при продаже вина и скота, а также платить контролерам ткацкого, плотницкого, столярного производства и розничной торговли, препятствовала коммерческим операциям. Тялья и другие налоги вынуждали деревенский люд влезать в долги и в итоге складывать свое имущество горожанам, церкви или дворянству».

²² Ibid. P. 78.

²³ Ibid. P. 93.

духе и тиранической власти дворян, предпочитающих поддерживать восставшее крестьянство, вместо того чтобы защищать разумную политику государства: «В Перигоре, в этой нищей провинции, заросшей густыми чащами, изрезанной непроходимыми извилистыми тропами, с россыпью неприступных замков, населенных высокомерными и непокорными дворянами, обладавшими огромным влиянием на своих крестьян, существовала перманентная угроза мятежа против королевской налоговой службы»²⁴. Все это, разумеется, справедливо, но не только по отношению к Перигору, который можно было бы охарактеризовать и совсем иначе. Подобное мифотворчество постоянно подкрепляется пространными цитатами из исторических документов и детальными описаниями ситуаций, поступков, установлений.

Цитаты из архивных материалов приводят в изобилии и Мунье, и Поршневу. Поршневу чаще всего обращается, конечно же, к свидетельствам из фонда Дубровского – в основном это записки и донесения интендантов или различных агентов правительства, выполнявших поручения на местах. Источники Мунье более разнообразны, но оба историка уделяют особое внимание редким документам, исходящим (или кажущимся таковыми) из стана мятежников, цитируют их и комментируют. Два подхода к выбору и толкованию этих текстов я сейчас и попытаюсь сравнить.

Процитированные тексты и комментарии к ним связаны с двумя эпизодами восстаний в Шаранте и Перигоре. По поводу первого эпизода Поршневу и Мунье ссылаются на разные источники. Поршневу задействовал донесение представителей кастелянств Ангума, поданное интенданту и губернатору провинции. Он цитирует текст по одному научному трактату XIX века, а вот в поле зрения Мунье этот документ, похоже, и вовсе не попал (позднее Ив-Мари Берсе нашел подлинник в Национальном архиве Франции в секции U)²⁵, что, кстати говоря, свидетельствует о том, с каким предельным вниманием и тщанием Поршневу в Ленинграде создавал документальную базу своей книги, ведь этот случай с донесением – не единственный. Мунье, со своей стороны, цитирует донесение о восстании – документ чуть более ранней датировки, представляющий собой копию письма, направленного анонимным информатором комиссару Ла Форсу, которому Сежье поручил расследование дела на месте. Мунье начинает так: «Чего хотели кроканы на этом этапе восстания, когда могли считать себя

²⁴ *Mousnier R.* Op. cit. P. 87.

²⁵ *Porchnev B.* Op. cit. P. 69–70. Текст, прокомментированный Поршневым, взят из издания: *Massiou D.* Histoire politique civile et religieuse de Saintonge et de l'Aunis. P., 1836. Т. 4. Ив-Мари Берсе в своей книге (*Bercé Y.-M.* Histoire des croquants. Etude des soulèvements populaires au XVIIe siècle dans le Sud-Ouest de la France. Genève, 1974. Т. 2. P. 736–737, 743–746) воспроизводит оригинал из Национального архива (Archives Nationales. U 793. F° 86–88v, 89v°–93v°).

победителями и, стало быть, выдать нам все свои тайные мысли? В одном анонимном письме [...] приводится квинтэссенция их речений и некоторые подлинные слова»²⁶. То есть коммуникативная ситуация, в которой сочинялось это сообщение (а сохранилось множество подобных донесений и времен Фронды), либо проигнорирована, либо просто не замечена историком: утверждения информатора о том, что это подлинные слова крестьян, для него вполне достаточно, чтобы признать их действительно таковыми. Контекстного анализа донесения Мунье не предлагает. Что еще удивительнее, он не берет в расчет не только историю его создания, но и дальнейшие обстоятельства копирования и бытования, которые между тем чрезвычайно важны²⁷.

Поршневу ведет себя сходным образом: он прекрасно знает, что процитированный и прокомментированный им текст составлен мелкими нотаблями из местных коммун, которым были поручены переговоры с мятежными крестьянами. Это вовсе не значит, что сами посредники не участвовали в восстании; тут можно сделать лишь один вывод: они сочиняли донесение в речевой ситуации, которая была далека от контекста мятежного лагеря. Институционализация этого текста обусловлена их социальным положением и тактическим расчетом на то, как он будет воспринят. Разумеется, было бы нелепо подвергать сомнению компетентность обоих историков – и тот, и другой отлично владели техникой критического разбора источников. Я просто хочу подчеркнуть, что интеграция этих процитированных текстов в социально-политическую историю письменных или устных публичных дискурсов не входила в их задачи – для Поршнева и Мунье это всего лишь свидетельские показания, а не произведения в совокупности текста и контекста.

Сопутствующие цитатам комментарии усугубляют последствия полного равнодушия обоих историков к вопросу о специфической роли письменных источников и тех, кто их создавал. У Мунье «крестьяне» становятся непосредственными авторами приведенных в реляции

²⁶ *Mousnier R.* Op. cit. P. 69–71.

²⁷ На этом особенно настаивает Ив-Мари Берсе (*Bercé Y.-M.* Op. cit. T. 1. P. 80): «Известны четыре экземпляра подборки текстов, касающихся восстаний кроканов Шаранты в 1636 г. и Перигора в 1637 г. При этом перигорские тексты, которые пользовались бóльшим успехом у любопытствовавших, фигурируют и в других сборниках, тогда как документы из Шаранты в них не вошли. Все эти экземпляры являют собой копии с одной подборки, имевшей хождение после мятежей. Создавалась она, по всей видимости, не столько с информативной или документалистской целью, сколько в угоду коллекционерскому интересу к историческим редкостям. Ошибки в датах и названиях, допущенные копировщиками, соседство записей о кроканах с материалами судебных тяжб времен Столетней войны свидетельствуют о том, что составитель интересовался не современными ему политическими реалиями, а уходящими в прошлое историческими курьезами. Мы не располагаем никакими конкретными данными для установления архетипа самой подборки и связи между вошедшими в него рукописями».

анонимного информатора слов: «они обвиняют...», «...стало быть, – продолжают крестьяне...», «они хотят...», «они выступают против...» и т.д. А отсюда уже экстраполируются определенные поступки и суждения, подменяющие собой интерпретацию реальных действий: «...значит, эти крестьяне желают возвращения к старым добрым кутюмам; они прямо говорят, что хотят платить налоги, установленные кутюмой [...]; подразумевается, что они мечтают о короле, который сам правит в согласии с кутюмой [...]; примечательно, что они не требуют ничего нового»²⁸.

Поршневу же на свой лад пересматривает донесение интенданта, комментируя отрывок из него:

«Интендант пишет канцлеру: “Они сочиняют там эдикты, содержание коих, приложенное к письму, покажет вам, монсеньор, что сей лев, хоть и притворился покорным, услышав обещания, каковы вы изволили ему дать, по-прежнему хранит в себе что-то от того дикого и жестокого нрава, свойственного его природе”. Интендант лукавит – на самом деле упомянутые “эдикты” составлены крестьянами в тоне столь мягком и в духе такой преданности режиму, что позволительно предположить, что их авторами являлись представители “правых” сил, сторонники капитуляции среди мятежников»²⁹.

И не поспоришь, потому что в данном случае текст опять воспринимается как простое вмесстилище подлинных и напрямую высказанных слов – об этом убедительно свидетельствует комментарий, указывающий на расхождение между словами и реальным положением дел, а для того, чтобы понять это расхождение – понять с позиции Поршнева, – конечно, необходимо наличие в мятежной крестьянской среде двух тенденций: правой и, соответственно, левой.

Среди текстов из лагеря кроканов Перигора два процитированы и кратко прокомментированы и Мунье, и Поршневым. Один озаглавлен «Постановление ассамблеи коммун жителей...», второй – «Челобитная королю от коммун Перигора»³⁰. В отличие от Поршнева, Мунье даже не уточняет, что речь идет о двух разных текстах, и перетасовывает цитаты так, будто они взяты из одного документа. Оба историка согласны с тем, что в аргументации и сдержанных формулировках просматривается влияние предводителя кроканов, дворянина по имени Антуан дю Прюи де Ламот Ла Форэ. Для Мунье это служит подтверждением наличия прочных вертикальных связей, пронизывавших мятежную организацию, а для Поршнева является доказательством того, что «доверив

²⁸ *Mousnier R.* Op. cit. P. 71.

²⁹ *Porchnev B.* Op. cit. P. 69.

³⁰ *Ibid.* P. 77–78. *Mousnier R.* Op. cit. P. 89–91. Тексты воспроизводятся в книге *Ber-cé Y.-M.* Op. cit. T. 2. P. 751–754 note 26.

командование представителю другого социального класса, крестьяне тем самым обрекли свое движение на постепенное вырождение». Две интерпретации, которые, кстати, не так уж противоречат друг другу на этом уровне исторического анализа, несомненно, важны для дальнейшего изложения взглядов обоих исследователей на общество Старого порядка в целом, однако меня здесь интересует не столько то, как будет развиваться повествование под влиянием заранее выстроенной концепции, сколько то, как интерпретации на событийном уровне поддерживаются, подпитываются, а порой и порождаются повествовательными приемами. Когда Ролан Мунье, поведав о том, что некто Маго, лекарь из Перигё, выразивший несогласие с Ламотом Ла Форэ был тем казнен, закрывает тему словами: «...кроканы скрылись в лесах», напрашивается вывод, что инцидент был следствием самого обычного соперничества между двумя людьми без какого-либо социального подтекста. А когда Поршнева описывает тот же эпизод, хронологически помещая его (ошибочно) перед решающей битвой, в которой армия герцога Лавалетта разгромила войско кроканов, а не после нее, получается, что это была неудачная попытка «свергнуть диктатуру Ламота Ла Форэ», предпринятая недовольными «из самых бедных слоев», и лекарь Маго превращается в «крестьянина Маго»³¹.

Таким образом, анализ работ Поршнева и Мунье предполагает цельное восприятие их содержания, без вычленения того, что имеет отношение к повествованию, и того, что имеет отношение к интерпретации. Я попытался показать, что разбор некоторых повествовательных приемов из арсенала этих двух историков позволяет разглядеть натяжки и темные пятна в их аргументации, прикрытые полотном рассказа. Что касается Поршнева – ведь именно он находится в центре данного обсуждения, а не его «противник», – то определенные особенности его историографического стиля, которые, как мне кажется, я сумел выявить, необходимо рассматривать также и в контексте интеллектуальной, а может и политической истории его академической карьеры, но мне о ней ничего не известно. Надеюсь, впрочем, что неосведомленность в этом вопросе не обесценит мои усилия проследить, как в узловых моментах его повествования выкристаллизовываются мельчайшие упущения, незначительные ошибки. И еще, как в рассказ о событиях закрадываются личные предположения и предубеждения автора, например, когда он будто то бы не может обойтись без характеристики Гийома Жирара, секретаря д'Эпернона, как «близкого друга герцога», или не в силах удержаться от замечания, что примкнувшие к мятежным крестьянам солдаты, до этого участвовавшие в осаде Ла-Рошели, были там, само собой, на стороне осажденных, или же когда он делает вид, что не понимает, почему название «кроканы»

³¹ *Mousnier R. Op. cit. P. 94; Porchnev B. Op. cit. P. 79.*

могло показаться бунтовщикам оскорбительным³². Реконструкция прошлого при помощи воображения – главная движущая сила воссоздания истории как у читателя, так и у автора, – пересекается и срастается в этих точках с выводами социальной истории. Повторяю, в этих точках – а значит, вовсе не там, где должны естественным образом согласовываться историческая концепция и эмпирические данные научного анализа.

³² Porchnev B. Op. cit. P. 58, 64–65.